

В выходные стервятники пробрались на балконы президентского дворца, расклевали проволочные решетки на окнах, разбередили крыльями время, застывшее внутри, и на рассвете в понедельник город очнулся от векового сна, пробужденный теплым мягким ветерком, душком крупного мертвеца и гнилого величия. Только тогда мы и решились войти, не руша облупленных стен из крепкого камня, как настаивали самые решительные, не снося воловьими упряжками главные ворота, как предлагали прочие, потому что стоило разок толкнуть — и они сами подались и вышли из петель, эти крытые броней ворота, которые в героические времена выдерживали натиск орудий Уильяма Дампира*. Мы как будто проникли в другую эпоху; воздух в заваленных мусором скважинах просторного оплота власти был тоньше, а безмолвие — старше, и все вещи — едва различимы в дряхлом свете. В первом дворе, где плитняк уступил подземному давлению сорной травы, мы увидели пост охраны, брошенный

в беспорядке, в минуту бегства, оружие, оставленное в шкафах, длинный стол из грубых досок с объедками прерванного паникой воскресного обеда; увидели полутемный барак, в котором размещались гражданские конторы, увидели разноцветные грибы и бледные лилии среди недописанных личных дел, имевших обыкновение тянуться медленнее, чем самая скучная из жизней, увидели посреди двора крестильную купель, в которой больше пяти поколений приобщалось к таинству в торжественно-воинской обстановке; в дальнем конце увидели бывшую конюшню вице-королей, преобразованную в гараж и каретный сарай, за камелиями и бабочками увидели карету-берлину времен шума, фургон времен чумы, повозку того года, когда прилетала комета, катафалк эпохи прогресса в рамках порядка, сомнамбулический лимузин первого мирного века — все они под слоем пыльной паутины находились в прекрасном состоянии и были выкрашены в цвета национального флага. В следующем дворе за железной решеткой цвели розовые кусты, присыпанные лунной пылью; в лучшие времена под кустами спали прокаженные, а теперь, в запустении, розы так разрослись, что ни единого закоулочка воздуха не оставалось без аромата, смешанного со зловонием, исходящим из дальнего конца сада, запахом курятника и смрадом навоза и кислой мочи коров и солдат из колониальной базилики, превращенной в хлев. Продравшись сквозь удушливые заросли, мы увидели арочную галерею с гвоздиками

в горшках и купами альстремерий и бугенвиллей, где располагались комнатухи наложниц, и по многообразию всяческого домашнего мусора и огромному количеству швейных машинок рассудили, что здесь и впрямь могло жить больше тысячи женщин с выводками недоносков; увидели армейский кавардак в кухнях, белье, стухшее на солнце в портомойнях, открытый нужник, один для женщин и солдат, а в глубине — вавилонские ивы, натурально, с собственной почвой, соком и испариной привезенные из Малой Азии по морю в гигантских парниках, и за ивами — сам дворец, огромный и печальный, с дырами в ставнях, куда то и дело залетали стервятники. Нам не пришлось взламывать двери, как мы опасались, — центральный вход распахнулся сам, словно поддавшись одной лишь силе голоса, и мы взошли на второй этаж по каменной лестнице со стертыми от коровьих копыт оперными ковровыми дорожками и повсюду, от главного вестибюля до личных спален, увидели множество кабинетов и официальных залов в развалинах, где невозмутимо бродили коровы, жевали бархатные портьеры и обкусывали атлас с кресел, увидели героические полотна со святыми и полководцами, валяющиеся на полу среди ломаной мебели и свежих коровьих лепешек, увидели обезображенную коровами столовую, оскверненную и разгромленную коровами музыкальную гостиную, развороченные коровами столики для домино и общипанные коровами луга бильярдных столов, увидели забытую

в углу ветряную машину, подражавшую звукам любого румба розы ветров, чтобы обитателей дома не заедала тоска по ушедшему морю, увидели развешанные повсюду птичьи клетки, с прошлой недели укутанные на ночь тряпицами, и увидели из многочисленных окон необъятное сонное животное, город, покуда не ведающий, в какой исторический понедельник он вступает, а за городом, до самого горизонта, увидели мертвые, покрытые шершавым лунным пеплом кратеры на бескрайней равнине, раскинувшейся там, где раньше было море. В этом запретном чертоге, где до сих пор доводилось бывать лишь немногим избранным, мы впервые уловили запах мертвечины, исходящий от стервятников, услышали их тысячулетнюю одышку, доверились их настороженному ясновидению и, идя навстречу порывам гнилого ветра, поднимаемого их крыльями, наткнулись в зале аудиенций на исчервленные коровьи остовы, их женственные огузки многократно отражались в высоких зеркалах, и тогда мы толкнули незаметную дверь в боковой кабинет и там увидели его, в полотняной форме без знаков различия, в крагах, на левой пятке золотая шпора; он был дряхлее самых старых людей и животных, сухопутных и водоплавающих, и лежал на полу лицом вниз, подложив правую руку под голову вместо подушки, в той же позе, в какой спал ночь за ночью, каждую ночь в своей неимоверно длинной жизни одинокого деспота. Только перевернув его, мы сообразили, что все

равно не узнали бы его лицо, даже не расклеванное стервятниками, потому что никто из нас никогда этого лица не видел, и хотя знакомый профиль красовался на обеих сторонах монет, на почтовых марках, на этикетках кровоочистительных средств, на бандажах для яиц, раздутых от водянки, и на скапуляриях, а картинка, где он изображался со стягом у груди и драконом, символом родины, мозолила нам глаза повсюду и в любую минуту; мы знали, что это копии портретов, считавшихся неточными уже во времена кометы, и наши родители знали, кто он, потому что слышали про него от своих родителей, а те — от своих, и с детства нас приучили думать, что там, во дворце, он жив, потому что кто-то видел, как загораются праздничные круглые фонари, кто-то рассказывал, мол, я видел грустные глаза, бледные губы, задумчивую руку, помахивавшую неизвестно кому из глубины литургического убранства президентской кареты, потому что однажды в воскресенье, много лет назад, с площади увезли слепого, который за пять сентаво декламировал стихи забытого поэта Рубена Дарио*, и вернулся он счастливый, с настоящей золотой унцией, столько ему заплатили за чтение стихов специально для него, хотя самого его он, конечно, не видел, не вследствие слепоты, а потому что ни единый смертный его не видел со времен желтой лихорадки, и все же мы знали, он там, знали, потому что мир продолжался, жизнь шла своим чередом, приходила почта, городской оркестр по субботам

играл незатейливые вальсы под пыльными пальмами и чахлыми фонарями на Гербовой площади, и всё новые и новые одряхлевшие музыканты заменяли в оркестре умерших. В последние годы, когда в глубинах дворца совсем перестали слышаться человеческие голоса и пение птиц, а бронированные ворота закрылись навсегда, мы знали, что там все же кто-то есть, потому что по ночам в окнах со стороны моря мерцали огни, напоминающие корабельные, а те, кто осмеливался подойти поближе, слышали за укрепленными стенами отчаянный стук копыт и вздохи крупного животного, и как-то раз под вечер, в январе, мы увидели корову, созерцавшую сумерки с президентского балкона; вы только представьте себе, корова на главном балконе родины, что за безобразие, вот ведь негодная страна, и мы недоумевали, каким образом корова проникла на балкон, всякому же известно, что коровы не умеют подниматься по лестницам, особенно каменным, а уж тем более застеленным ковровыми дорожками; в конце концов мы запутались — то ли мы в самом деле ее видели, то ли просто проходили однажды по Гербовой площади и на ходу нам пригрезилось, будто мы видим корову на президентском балконе, где вот уже много лет ничего не появлялось до того самого дня и еще много лет не появлялось после, вплоть до самого рассвета пятницы, когда вдруг замаячили первые стервятники, они поднялись оттуда, где вечно дремали, с карниза больницы для бедняков, прилетели из

глубины страны, несколько стай явились с горизонта пыльного моря, занявшего место моря настоящего, и целый день медленно кружили над дворцом, пока здоровенный королевский гриф с перьями, словно в невестинном уборе, и красным теменем не отдал молчаливый приказ, и вот стекла брызнули осколками, и повеяло крупным покойником, и стервятники беспрепятственно стали шастать в окна и обратно, как бывает только в заброшенном доме, так что мы тоже отважились зайти и обнаружили в опустелом святилище обломки величия, исклеванное тело, девичьи руки с кольцом власти на окостенелом безымянном и увидели, что по всему его телу проклюнулись крохотные лишайники, там и сям кишели глубоководные паразиты, особенно под мышками и в паху, и парусиновый бандаж поддерживал разросшееся от водянки яичко — единственное, чем пренебрегли стервятники, несмотря на то, что размером оно было с воловью почку, — но даже тогда мы не решились поверить в его смерть, потому что один раз его уже так находили, в этом самом кабинете, один-одинешенек, одет и вроде бы умер по естественным причинам, как и предсказывали, увидев это в прозрачных водах своих волшебных плошек, гадалки много лет назад. В первый раз его нашли в начале его осени, когда нация еще была настолько живой, что он ощущал смертельную угрозу даже в уединении собственной спальни и все же правил, будто знал, что ему на роду написано не умирать никогда, а прези-

дентский дворец тогда напоминал базар, в коридорах приходилось расталкивать босых ординарцев, сгружавших с ослов корзины с овощами и курами, перешагивать через кумушек, спавших вповалку на лестницах и грезивших о чуде официальной милостыни, и их рахитичных отпрысков, крестников, уворачиваться от потоков грязной воды, которую выплескивали языкастые наложницы, они меняли увядшие за ночь цветы в вазонах на новые, и мыли полы, и пели о несбыточной любви, и в такт выбивали вениками ковры на балконах, а кругом переругивались пожизненно нанятые чиновники, в ящиках столов им то и дело попадались всклокоченные несушки, и из нужников и в нужники сновали шлюхи и солдаты, и галдели птицы, и в конторах дрались бродячие собаки, и никто не знал, кто есть кто и кому кем приходится в этом распахнутом на все четыре стороны дворце, где царил такой чудовищный беспорядок, что понять, кто тут правит, было невозможно. Хозяин дома не только участвовал во всем этом ярмарочном угаре, но и подстегивал его, и руководил им: как только загорался свет в его спальне, задолго до петухов, президентская охрана трубила побудку и возвещала о новом дне ближней военной части Конде, а та повторяла зорьку для базы Сан-Херонимо, база трубила для крепости в порту, а уж крепость трубила шесть раз подряд, пробуждая сперва город, а потом и всю страну, покуда он размышлял, сидя на переносном нужнике, пытался унять нарастающий шум

в ушах, прижимал их ладонями и за окном видел огни судов на глади изменчивого топазового моря, которое в те славные времена еще было на месте. Каждый день с самого вселения во дворец он следил за утренней дойкой и лично отмерял количество молока, которое трем президентским повозкам предстояло развезти по городским казармам, выпивал в кухне кружку черного кофе с лепешкой из маниоки, не представляя, куда занесут его капризные ветра нового дня, и внимательно прислушивался к болтовне прислуги, потому что во всем дворце только с этими людьми и говорил на одном языке, их искреннюю лесть больше всего ценил, их сердца лучше всего разгадывал, а незадолго до девяти неспешно погружался в гранитную купель под сенью миндальных деревьев в своем личном дворике, наполненную отваром целебных листьев, и лишь после одиннадцати чувствовал, что справился с тревогами утра и готов взглянуть в лицо взбалмошной действительности. Раньше, во времена высадки морпехов и оккупации, он запирался в кабинете решать судьбу родины вместе с командиром десанта и ставил под всевозможными законами и указами отпечаток большого пальца, поскольку не умел тогда читать и писать, но, когда его вновь оставили один на один с родиной и властью, перестал морочить себе голову писаными законами и управлял вживую, твердым голосом и твердой рукой, всегда и везде, с каменной сдержанностью, но и с немислимым для его возраста усердием,

осаждаемый толпами прокаженных, слепцов и паралитиков, чаявших получить из его рук целительную соль, а также крючоктворами-политиканами и бесстрастными льстецами, которые объявляли его исправителем землетрясений, затмений, високосных лет и прочих божьих недоделок, а он бродил по всему дому, подволакивая огромные ножищи, будто слон в снегу, и разрешал государственные вопросы и домашние дела одинаково простыми фразами вроде вон ту дверь отсюда снимите, а туда навесьте, снимали, а теперь навесьте обратно, навешивали, и часы на башне пусть бьют двенадцать не в двенадцать, а в два, чтобы жизнь дольше казалась, исполняли; ни единой секунды промедления, никакой паузы, разве что в смертельный час сиесты, когда он уходил в сумрачные владения наложниц, выбирал одну и наскакивал, не раздевая, не раздеваясь, не затворяя дверей, и по всему дому раздавалось тогда бесчувственное пыхтение мужика, которому приспичило, нетерпеливое звяканье золотой шпоры, повизгивание разохотившегося кобеля, испуганный голос женщины, не способной сосредоточиться на мимолетном мгновении любви под хмурыми взглядами своих недоносков, ее выкрики: пошли прочь отсюда, марш во двор играть, нечего детям на такое смотреть, и в эту минуту словно ангел пролетал по небу отчизны, голоса умолкали, жизнь замирала, все застывали, приложив палец к губам, не дыша, тихо, генерал сношается, но те, кто лучше всех его знал, не слыш-

ком верили в передышку даже в эту священную минуту, ведь он, казалось, обладал способностью раздваиваться, в семь часов вечера его видели за партией в домино и одновременно поджигающим коровьи лепешки для отпугивания москитов в зале аудиенций, и никто не питал иллюзий, покуда не гасли последние огни в окнах и не раздавался грохот трех замков, трех засовов, трех щеколд в президентской спальне и звук утомленного тела, валившегося на каменный пол, дыхание дряхлого ребенка становилось все глубже по мере того, как поднимался прилив, и наконец арфы ночного ветра заглушали цикад, терзавших его барабанные перепонки, и широкая пенистая волна затапливала улицы затхлого города вице-королей и буканьеров* и врывалась в окна дворца, словно неудержимая августовская суббота, и зеркала обрастали ракушками, и зал аудиенцией отдавался на милость безумствам акул, а волна преодолевала самые высокие уровни доисторических океанов, заливая весь лик земной, пространство и время, и только он один дрейфовал лицом вниз в лунной воде своих снов одинокого утопленника, в полотняной форме рядового, в крагах, в золотой шпоре, подложив правую руку под голову вместо подушки. В тернистые годы, предшествовавшие его первой кончине, это умение быть всюду одновременно, умение подниматься, спускаясь, умение упиваться морем, агонизируя в миг неумелой любви, объяснялось не природным даром, в который верили почитатели, и не коллек-

тивными галлюцинациями, на которые ссылались критиканы, а великой удачей — круглослужбой и беззаветной преданностью Патрисио Арагонеса, идеального двойника, найденного по чистой случайности, когда никто и не искал, просто к генералу пришли с известием, мол, фальшивая президентская карета разъезжает по индейским селениям, мол, афера с подлогом вполне удалась, мол, они видели безмолвные печальные глаза в траурном сумраке, видели бледные губы, девичью нервную руку в атласной перчатке, разбрасывающую горсти соли над головами коленопреклоненных страждущих бедолаг на улицах, а позади кареты ехали верхом два фальшивых офицера и собирали звонкую монету в обмен на исцеление, вы только представьте, господин генерал, какое святотатство, но он никак не наказал самозванца, а велел тайно доставить во дворец с сизалевым мешком на голове, чтобы их не перепутали раньше времени, и тогда-то пережил унижение лицеизреть самого себя, оказаться равным кому-то, вот же ж на хрен, да он — это я, и так оно и было, разве что властному голосу оригинала двойник так и не смог выучиться, зато линии руки были отчетливее, и линию жизни ничто не прерывало до самого основания большого пальца, и если он не приказал расстрелять двойника на месте, то не из-за намерения сделать его официальным заместителем — до этого он не сразу додумался, — а из-за щемящего чувства, будто на ладони самозванца начертана его собственная

судьба. К тому времени, как он разуверился в этой соблазнительной догадке, Патрисио Арагонес успешно пережил шесть покушений, приобрел привычку волочить ноги вследствие вызванного ударами кувалды плоскостопия, и в ушах у него шумело, стылými зимними утрами ныло разбухшее яичко, он научился теревить золотую шпору с якобы спутанными ремешками, просто чтобы убивать время на аудиенциях, и бормотать: черт бы подрал этих фламандских шорников, даже пряжку как следует сделать не могут, и из шутника и балагура, каким был, когда работал в стеклодувной мастерской своего отца, превратился в человека задумчивого и угрюмого, и не слушал, что ему говорят, а всматривался во мрак глаз собеседника, пытаясь догадаться, о чем умалчивают, и ни на один вопрос не отвечал, не спросив сперва, а что вы сами думаете по этому поводу, и перестал быть лодырем и прожигателем жизни, каковым слыл во времена торговли чудесами, и стал усердным до оскомины, неутомимым ходоком, жадным и вороватым, смирился с необходимостью любить наскоком и спать на полу, в одежде, лицом вниз, без подушки, и отказался от самонадеянных претензий на собственную личность, а также наследственного призвания к легкомысленному ремеслу выдувания бутылок из стекла, и возложил на себя опаснейшие обязанности власти, и первые камни закладывал туда, куда не суждено было лечь вторым, и перерезал ленточки на вражеских территориях, и претерпевал бесчис-